

## ДУХ И РАЗУМ В ТВОРЧЕСТВЕ ЭКЗЮПЕРИ

01.02.2018

Философ и политолог С. Кургиян пишет о том, что *«Маркс осуществил свой критический разбор гегелевской философии права (внимание!) для разрешения обуревавших его сомнений. Когда-нибудь какой-нибудь ортодоксальный марксист скажет, что Маркса обуревали сомнения? <...> Согласитесь, что фраза “обуревающие меня сомнения” более к лицу какому-нибудь романтическому философу или мятущемуся богоискателю, чем тому бородатому ментору, в которого Маркса превратил советский ортодоксальный марксизм».*

Однако в том, что даже такого крупного мыслителя как Карл Маркс способны «обуревать сомнения» нет ничего удивительного. И не только по той причине, что «ничто человеческое ему не чуждо»... «Сомнение» предписано Марксу самим Марксом в анкете-исповеди (1865), заполненной им для своей дочери Женни. 18-й пункт этой анкеты гласит — «Ваш любимый девиз? — De omnibus dubitandum (“Подвергай все сомнению”))».

Принцип «De omnibus dubitandum» («Подвергай все сомнению»), восходящий к отцу рационализма Рене Декарту (1596–1650), является основой рационалистического мировоззрения и теории познания. Призывая отказаться от любых суждений, знаний и опыта, принятых **на веру**, Декарт утверждал необходимость «сомнения во всём», призванном снести здание традиционной культуры для её замены культурой рациональной. Работа Декарта **«Рассуждение о методе»** (фр. **«Discours de la méthode»**, 1637) дала начало эпохе Просвещения, возведшей рациональное, критическое, дискурсивное (рассудочное) мышление в статус сверхценности. Религиозный философ Николай Бердяев пишет: *«В рационализме Декарта, в эмпиризме Юма и критицизме Канта рефлексия и сомнение возведены в ранг добродетелей философского познания».*

Подготовив идеологическую почву для Великой французской революции, европейское Просвещение выполнило поставленную перед ним задачу слома традиционного общества, воздвигнув общество современное — Модерн — с его опорой на рациональность, секулярность, светский закон и материализм как отрицание Духа.

Будучи эффективным средством развенчания и девальвации любого научно неверифицируемого наследия традиционной духовной культуры, рационализм Модерна утвердил свою, радикально отличную от прежних, **научную** картину мира, открывшую глубокую экзистенциальную рану в душе потерявшегося в ней Человека. Бердяев пишет: *«Коперник и Дарвин <...> сделали идею центральности человека неприемлемой для научного сознания. <...> Коперник показал, что земля не есть центр космоса и что не вокруг нее вращаются миры. Земля — одна из планет, место ее очень скромное. Дарвин показал, что человек не есть абсолютный центр этой скромной планеты земли: он — одна из форм органической жизни на земле, той же природы, что и другие формы, один из моментов эволюции. <...> Теперь, когда смотрит человек ночью на звездное небо, он чувствует себя потерянным в этой бесконечности миров, раздавленным этой дурной бесконечностью. <...> Как исключительно природное существо, человек — не центр вселенной и не царь вселенной, он один из многих и принужден бороться за свое положение с бесконечно многими существами и силами, тоже претендующими на возвышение».*

Отрицательное влияние крайний рационализм, а точнее, его ядро — «сомнение» — оказал и на человеческое **действие** как таковое. Потеряв своё самочувствие в новом неуютном и холодном мире Разума, человек потерял и возможность утверждения новых идеалов через критику наличной действительности — ибо трудно рационально критиковать современность (Модерн), уже всецело построенную на рациональной критике традиции (Премодерна). Да и сама постановка вопроса о новом идеале, новой цели человеческой истории, будучи неизбежно продуктом потерявших

авторитет **веры** и **чувства**, становится недопустимой: «*Ваше сердце должно "пойти вон", потому что с точки зрения разума ТАК и должно быть*» говорит о Модерне С. Кургинян.

Таким образом «страдание» по поводу несовершенства мира Модерн отдаёт на откуп своим художникам, каковыми стали **иррационалисты-романтики**. Лермонтов пишет в 1838 году:

*Печально я гляжу на наше поколение!  
Его грядущее — иль пусто, иль темно,  
Меж тем, под бременем познания и сомненья,  
В бездействии состарится оно.*

<...>

*К добру и злу постыдно равнодушны,  
В начале поприща мы вянем без борьбы;  
Перед опасностью позорно-малодушны,  
И перед властью — презренные рабы.*

<...>

*Мы иссушили ум наукою бесплодной,  
Тая завистливо от ближних и друзей  
Надежды лучшие и голос благородный  
Неверием осмеянных страстей.*

Пафос романтизма, жаждущего борьбы, действия, ломки наличествующего, проистекающий из **интуитивного** ощущения уродства действительного мира, наталкивается на непреодолимый консерватизм господствующего скептического мышления. **Сомнение**, выродившееся в **неуверенность**, становится атрибутом всей буржуазной жизни. Борьба как таковая становится проблематичной, утверждается специфическое «миролюбие» как неспособность к **большому действию** со стороны любых групп общества. В 1886 году Ницше саркастически замечает: «Подобного рода **миролюбие** в наш отличающийся крайней **неуверенностью**, следовательно, весьма **миролюбивый век** должно встречаться даже у философов...».

Таким образом сомнение, неуверенность, требование **доказательств** ослабили иррациональную основу любого решительного человеческого действия: веру, интуицию, любовь, волю — т.е. Дух в широком смысле. Человек рациональный оказался неспособен на борьбу со злом, о чем поэтически предупреждал ещё Шекспир (1600): «*Так всех нас в трусов превращает мысль и вянет, как цветок, решимость наша в бесплодие умственного тупика. Так погибают замыслы с размахом, вначале обещавшие успех, от долгих отлагательств*». Бердяев продолжает: «*Рефлектирующий и сомневающийся не может быть активным в мире, не может быть воином, он весь погружен в ослабляющее его самораздвоение, он не уверен в той активной, творческой силе, которой мог бы воздействовать на мир. Творческий акт познания, преодолевающий границы и препоны, может совершать лишь твердо уверенный в своей познавательной силе, лишь цельный, а не раздвоенный. Сомнение и раздвоение делают познающего зависимым от мировой данности с ее дурной множественностью, делают рабом необходимости*».

Рациональный скептицизм, лишая любые мировоззрения и концепции абсолютного статуса, легитимирует и перманентный пересмотр личностью своих взглядов. Зигмунд Фрейд пишет: «*...надо быть готовым оставить ту дорогу, по которой мы некоторое время шли, если окажется, что она не приводит ни к чему хорошему. Только такие верующие, которые от науки ожидают замены упраздненного катехизиса, поставят в упрек исследователю постепенное развитие или даже изменение его взглядов*» (1920). Подобная гибкость и недогматичность,

будучи сильной стороной классической **науки**, оперирующей относительными и преходящими истинами, оказывает разлагающее влияние на цельность человеческой **личности**, этой науке подчинившейся. Ведь если личность знает, что всё, ради чего она живет и страдает сегодня, может быть пересмотрено и девальвировано завтра, — она перестает понимать стратегически: кто она и за какие высшие и безусловные ценности готова пожертвовать жизнью.

И здесь я подхожу к определенному «противоречию» в мировоззрении Маркса, на которое мы наталкиваемся при анализе его анкеты-исповеди. 3-й пункт данной анкеты гласит: «Ваше представление о счастье? — **Борьба**». Т.е. в 3-м пункте Маркс утверждает, что его представлением о счастье является **борьба**, а в 18-м — что его любимый принцип: «Подвергай всё **сомнению**», который, как мы убедились выше, идее **борьбы** противоречит. Т.е. мы видим, что Маркс пытается соединить в себе **романтический дух** борьбы с **рационалистическим** принципом сомнения, он — **рационалист-романтик**. Возможно ли такое или это раздвоение личности?

Не вызывает (простите) сомнения, что для совмещения романтизма с рационализмом необходимо последний, так сказать, «ограничить в правах», превратив из крайнего в умеренный, отведя ему строго определённую роль в человеческом познании и деятельности. Т.е. нужно в каком-то смысле отойти от абсолютного рационализма Декарта, оставив разуму **инструментальное** значение, по формуле Ницше: *«Следовало бы исключить отсюда Декарта, отца рационализма (а значит, деда революции [Французской — Н.Д.]), который признавал авторитет за **одним разумом**, — но **разум** есть только **орудие**, а Декарт был **поверхностен** [т.е. не способен видеть того, чего не видно — Н.Д.]»*.

Поскольку разум в нашей рационально-романтической модели становится лишь **инструментом**, **орудием** достижения некой **цели**, сам акт целеполагания становится прерогативой одной из сфер человеческого иррационального — подсознательной и нерелективируемой **интуиции**. *«Таким образом, социалистическо-коммунистическая теория является синтезом **интуитивизма** и стремления к крайней **рационализации**»* — резюмирует философ и социолог Карл Маннгейм (1929).

Но что же происходит в сфере духовной интуиции, неподвластной сознанию, анализу, рефлексии — Разуму как таковому? Что и как придаёт человеку ясности его целям, уверенности действиям, насыщает смыслом и силой его борьбу?

Важно сказать, что духовное состояние человека, как и душевное, не является чем-то безусловно устойчивым. Духовное «видение» смысла и цели деятельности может быть четким, нечетким или отсутствовать вовсе. Духовное самочувствие индивида выражается в степени его уверенности или неуверенности в своем жизненном пути, в своей судьбе.

Как и в иных подобных случаях, здесь имеет смысл выделить две крайности, рассмотрев соответствующие им типы. Так, в романе Антуана де Сент-Экзюпери «Военный лётчик» (1942) тип **уверенности** воплощает младший лейтенант Ошедэ, тип **неуверенности** — сам Экзюпери: *«...я не стану распространяться о боевых вылетах Ошедэ. Вылетал ли он добровольно? Мы все и всегда добровольно летим на любое задание. Но нами движет неосознанная **потребность верить в себя**. И тут мы себя чуточку пересиливаем. А для Ошедэ быть добровольцем совершенно естественно. Он и есть сама эта война. Это так естественно, что, когда речь идет о **тяжелом задании**, майор Алиас прежде всего вспоминает об Ошедэ... Для **Ошедэ война** все равно что для монаха его **религия**. <...> Когда я думаю о своей группе, я не могу не думать об Ошедэ. Я мог бы рассказать о его боевой отваге, но я показался бы смешным самому себе. Дело тут не в отваге, Ошедэ целиком отдал себя войне. Вероятно, в большей мере, чем любой из нас. Ошедэ неизменно пребывает в том состоянии духа, которого я добивался с таким трудом. Снаряжаясь в полет, я ругался. Ошедэ не ругается. Ошедэ пришел к тому, к чему мы только стремимся. К чему я хотел бы прийти. Ошедэ — бывший сержант, недавно произведенный в*

младшие лейтенанты. Разумеется, **образования ему не хватает**. Сам он **никак не мог бы объяснить себя**. Но он **слажен, он целен**. Когда речь идет об Ошедэ, слово “долг” теряет всякую напыщенность. Каждый хотел бы так исполнять свой долг, как его исполняет Ошедэ. Думая об Ошедэ, я корю себя за свою **нерадивость, лень, небрежность и прежде всего за минуты неверия**. И дело тут не в моей добродетели: просто я по-хорошему завидую Ошедэ. Я хотел бы существовать в той же мере, в какой существует Ошедэ. Прекрасно дерево, уходящее своими корнями глубоко в почву. Прекрасна стойкость Ошедэ. В Ошедэ нельзя обмануться».

В отличие от Ошедэ, сомневающийся разум Экзюпери диктует ему не приносить свою жизнь в жертву войне, превратившейся в пародию и потерявшей всякий смысл. Но поскольку Ошедэ не смог бы «объяснить себя», попытку «объяснения» сложившейся духовной ситуации предпринимает сам Экзюпери, уповая на приближающуюся ночь, которая сможет дать ему **понимание** смысла его скорой смерти в опасном задании: *«Я знаю, придет время, и я **пойму**, что, поступив **наперекор своему разуму**, поступил **разумно**. Я обещал себе, если останусь жив, эту ночную прогулку по моей деревне. Тогда, быть может, я наконец пойму самого себя. И научусь **видеть**. <...> Тогда, быть может, мне раскроется то, что трудно выразить словами. Я приду к огню, как слепой, которого ведут его ладони. Он не смог бы описать огонь, а все-таки он его нашел. Так, быть может, **явится мне то, что нужно защищать**, то, чего **не видно**, но что живет, подобно горящим углям, под пеплом деревенских ночей. Мне нечего было ждать от отмены вылета. <...> Но я хотел бы своевременно получить то, что мне причитается. Я хотел бы обрести право на любовь. **Я хотел бы понять, за кого умираю**...».*

Оказавшись на краю гибели, пережив опасный полёт над городом Аррасом, Экзюпери обретает искомое видение и понимание смысла своей борьбы, смысла своего существования.

В чём же обнаружил Экзюпери источник своего скептицизма и, противоположной ему, уверенности Ошедэ? *«Меня поражает то, чего никто не желает признать: **жизнь Духа** иногда прерывается. Только **жизнь Разума** непрерывна или почти непрерывна. Моя способность размышлять не претерпевает больших изменений. Для **Духа** же важны не сами вещи, а связующий их **смысл. Подлинное лицо вещей**, которое он постигает сквозь внешнюю оболочку. И **Дух** переходит от ясновидения к абсолютной слепоте. <...> И вот наступает час, когда я вдруг обнаруживаю, что перестал **видеть Сущность**. Майор Алиас провел всю ночь у генерала в чисто логических спорах. **А чистая логика разрушает жизнь Духа**».*

Здесь Экзюпери констатирует: во-первых, что Разум сильнее Духа в том, что человек способен мыслить всегда, в то время как Дух часто оставляет человека, и во-вторых — главное — Разум силён в том, что способен своими доводами и логикой уничтожить любые «доводы» Духа, и с этим необходимо бороться: *«Искушение — это соблазн уступить **доводам Разума**, когда **спит Дух**. <...> **Доводы** были неопровержимы. **Доводы всегда неопровержимы**». И если ты намерен держать свой Разум в подчинении, то в ситуации упадка Духа **важно сохранять самообладание ради цели, которая в данную минуту еще не ясна. Эта цель — не для Разума, а для Духа. <...> Есть истина более высокая, чем все доводы разума. Что-то проникает в нас и управляет нами, чему я подчиняюсь, но чего не сумел еще осознать. У дерева нет языка. Мы — ветви дерева. Есть истины очевидные, хотя их и невозможно выразить словами**».*

Вернуть человеку покинувший его Дух может **предельный экзистенциальный опыт**, возвращающий личности способность «видеть» Сущность: *«Я полетел в разведку над Аррасом за новым доказательством того, что я веду честную игру. **Я рисковал своей плотью. Всей своей плотью. И шансов на выигрыш у меня не было**... <...> Я говорю себе: “Все это обстрел над Аррасом...” **Его снаряды пробиты какую-то оболочку**. Очевидно, в течение всего этого дня я готовил в себе жилище для Человека. Я был всего лишь **ворчливым** управляющим. Всего лишь личностью. Но вот явился Человек. Он попросту занял мое место. Он посмотрел на беспорядочную толпу, и он **увидел народ**. Свой народ. Человек — общая мера для этого народа и*

для меня. Вот почему, когда я возвращался в авиагруппу, мне казалось, что меня влечет тепло большого костра. Моими глазами **смотрел Человек** — Человек, общая мера для всех моих товарищей. <...> Еще раз я **ощутил** это загадочное родство. Человек, живущий во мне сегодня, не перестает опознавать своих. Человек — общая мера для всех народов и рас...».

В подобной схеме поверхностные истины разума, сознания и языка, вторичные по отношению к глубинной правде Духа, способны сослужить последнему плохую службу, искушая и совращая его... Этому необходимо сопротивляться: «Наша общность для нас уже **ощутима**. Чтобы сплотиться в ней, нам, разумеется, предстоит найти для нее **словесное выражение**. Но это уже потребует усилий **сознания и языка**. Однако, чтобы сохранить в неприкосновенности основу нашей общности, мы должны быть **глухи к шантажу, к полемике, к то и дело меняющимся словесным ловушкам**. И прежде всего мы не должны **отрекаться от того, что неотделимо от нас**».

Итак, рационалистом-романтиком не может быть личность, неполноценная в духовном отношении. Её Духовная сила управляет развитым (до степени хитрости и лукавosti) Разумом, диктует ему Путь. Рационалист-романтик может быть наделен всеми необходимыми рационально-духовными качествами (как Ошедэ) или искать их (как Экзюпери), но умалив рациональное или духовное, он становится «раздвоен» и теряет свою целостность. Утратив духовное, пилот-рационалист, потерявший ориентир в стихиях страха, неоднозначности и сомнения, теряет экзистенциальную цель своего полета... Утратив рациональное, пилот-романтик теряет способность управлять сложнейшим самолётом всей своей действительной жизни на пути к цели, открытой для него Духом:

...я удивлю фермера, у которого квартирую. Я спрошу его:

— А вы знаете, сколько теперь у летчика приборов, за которыми он должен следить?

— Откуда же мне знать?

— Ну все-таки, назовите какую-нибудь цифру. Назовите любую цифру!

— Ну, семь.

— **Сто три!**

И я буду доволен.

Конец текста